

Н. А. Лобкова
*Костромской государственный
 университет им. Н. А. Некрасова*

ПОД ЗНАКОМ ПУШКИНА (О ФИНАЛЕ ПОВЕСТИ А. П. ЧЕХОВА «ДУЭЛЬ»)

... в уме, подавленном тоской,
 Теснится тяжких дум избыток;
 Воспоминание безмолвно предо мной
 Свой длинный развивает свиток.
 И с отвращением читая жизнь мою,
 Я трепещу и проклинаяю,
 И горько жалуясь, и горько слезы лью,
 Но строк печальных не смываю.

Этот отрывок из элегии Пушкина «Воспоминание» поставлен Чеховым в качестве эпиграфа к XVII главе повести «Дуэль». Мотив покаяния, горького прозрения, прозвучавший в пушкинских стихах, определяет содержание главы: в ночь перед поединком Лаевский, главный герой повести, просматривая «свою презренную, паразитную жизнь», переживает нравственное потрясение, ставшее началом преобразования его личности.

Первые читатели «Дуэли», однако, не поверили в нравственное перерождение Лаевского. «Добродетельная метаморфоза» героев повести показалась фантастичной Д. С. Мережковскому при общей высокой оценке произведения (13 : 234). О неоправданности финала повести писал Чехову А. Н. Плещеев: «Мне совершенно не ясен конец ее, – и я был бы вам очень благодарен, если б Вы объяснили мне, чем мотивируется эта внезапная перемена в отношениях всех действующих лиц между собой. Почему вражда Ф.-Корена к человеку, которого он так поносил и унижал, – вдруг заменяется уважением..., почему ненависть этого последнего к женщине, с которой он живет, превращается в любовь, несмотря даже на всё, что он про нее узнал и что прежде не подозревал? <...> По-моему, рассказ окончен слишком произвольно» (13 : 235).

Современники Чехова почти единодушно восприняли последние главы повести с недоумением или резким возражением, обвинив автора в искусственной, надуманной развязке. Лаевский воспринимался критиками конца XIX века в контексте литературной традиции как сниженный пародийный вариант «лишнего человека»: «...прямой потомок старых гамлетиков, заеденных рефлексией низшего разбора» (11 : 701); «новейший Обломов», портрет «обездушенной, обезволенной интеллигенции» (11 : 701); «Лаевский – это Рудин наших дней. Что же с ним сделали годы? Он упал, страшно упал, позорно, малодушно, бесчестно <...>. Это полное банкротство целого типа» (11 : 702). Подробную характеристику общественного смысла фигуры Лаевского дал П. П. Перцов: Лаевский – идейный пустоцвет, не ведающий Бога, не имеющий идеалов и жизненной цели современный русский интеллигент; «он мечется в безвы-

ходном лабиринте сомнений и тоски» (12 : 202). «Правда, в конце повести г-н Чехов совершил со своим героем овидиевскую метаморфозу и заставил его, под влиянием страха смерти и строгой проверки своей жизни перед дуэлью, преобразиться из идейного пустоцвета в человека дела, внезапно обретшего и определенные идеалы, и способность к работе. Но, каемся, это возрождение Лаевского непонятно для нас, да и не радует нас». Это возрождение, считает П. П. Перцов, противоречит «основному смыслу фигуры Лаевского»; «возрождение происходит собственно за кулисами, и благодушным читателям предоставляется верить автору на слово», дорисовывать пробел (12 : 203).

В современных работах о творчестве Чехова финал «Дуэли» рассматривается в связи с исследованиями его художественного метода.

В. А. Кошелев увидел в чеховской «Дуэли» развенчание «онегинского» мифа: Лаевский декларирует собственное «онегинство» и настаивает на нем; сама романная ситуация «Дуэли» – пародийно сниженная ситуация пушкинского романа. «Литературность» Лаевского иронически усиливается репликами зоолога фон Корена: «Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат не распечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в том Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека»; «ловкая штука! – распутен, лжив и гадок не он один, а мы...», «мы, люди восьмидесятых годов», «мы, вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация»... «Мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность» – явление историческое, «освященное необходимостью» (5 : 152–153). И в финале повести В. А. Кошелев тоже видит своеобразную пародию: «превращение “литературного” Онегина в добропорядочного чиновника и семьянина – есть естественный парадоксально-пародический исход из этой литературной ситуации». «Лаевский сознательно “играет” Онегина, – но “заигрывается” и незаметно для себя оказывается в роли Ленского...». Обнажая пушкинские приемы, Чехов переносит их «в иную художественную плоскость, принципиально прозаическую» (5 : 153–154).

Однако пушкинский эпиграф и в целом вся XVII глава выпадают из данной концепции. Да и время создания повести – вскоре после Сахалина – не располагало к литературным играм. До XVII главы читатель мог соглашаться с оппонентом Лаевского фон Кореном, который видел в нем жалкое подражание известным литературным персонажам. Поступки и мысли Лаевского тоже убеждали читателя в пошлости и слабости героя, в его беспредельном эгоизме, порочности. И все-таки появляется XVII глава с пушкинскими стихами, и мы участвуем в процессе беспощадного суда над собой главного героя.

Пушкинский эпиграф резко меняет тональность текста – происходит переход повествования в другой «регистр», сюжет получает метафизическую бытийную «вертикаль» (термин В. Непомнящего – 7 : 428). Нет и намека на иронию, трагическое прозрение Лаевского оставляет впечатление гораздо более сильное, чем обвинения фон Корена; фон Корен бранился, говорил о Лаевском с презрением, с брезгливостью; в «пушкинской» XVII главе дан внутренний монолог героя: звучит предельно объективный голос, голос его совести, – накануне смерти

смысл каждого слова безупречно точен, – текст обретает абсолютную значимость, неопровержимость, как красивая сильная гроза, разыгравшаяся над морем этой ночью. Стихия грозы, словно высшая сила, обнажает истинную сущность жизни Лаевского, «смывая» с души героя пошлость, грязь, «горы лжи»: «Гроза! – прошептал Лаевский; он чувствовал желание молиться кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам. – Милая гроза!» (11 : 436). Исповедальная интонация, заявленная пушкинскими стихами, сопровождает весь текст, не снижаясь, передавая душевную потрясенность героя, вызывая и у читателя ощущение прикосновения к открывшейся «настоящей правде». «Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбежал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: “Свят, свят, свят...”. О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал... “Что в моем прошлом не порок?” – спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты» (11 : 436–437). Гимназия, университет, служба – всё обман. «Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, не пошлой строчки, не сделал людям ни на грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь...» (11 : 437). Несколько раз Лаевский пытался написать письмо матери, но кроме обращения «Матушка!» не мог найти слов; близость давно была утрачена; острое чувство вины не только перед Надеждой Федоровной, но и перед жизнью, перед небом вызвало чувство полного одиночества. «Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну; он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения; несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал: “Матушка!”» (11 : 437). Этот детский возглас, без продолжения, – точная психологическая деталь, как и свеча, которую Лаевский то гасит, то зажигает. Стихийные образы ночи, моря, грозы, молний наполняются символикой человеческой судьбы: «Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночной тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность – трудом, скуку – радостью, он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее, нашел бы бога и справедливость, но это так же невозможно, как закатив-

шуюся звезду вернуть опять на небо. И оттого, что это невозможно, он приходил в отчаяние» (11 : 438). Вместе с грозой закончилась его страшная исповедь, на смену которой приходит не менее жуткое хладнокровное размышление о том, что будет с ним. Готовность к смерти: «Фон Корен, вероятно, убьет его. Ясное, холодное мирозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных; если же оно изменит в решительную минуту, то помогут ему ненависть и чувство гадливости, какие возбуждает в нем Лаевский». Если же судьба его пощадит – «что тогда делать? Куда идти?». Лаевский приходит к убеждению, что «спасение надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и всё...» (11 : 438). Уныние, похожее на дурное предчувствие; раздумье – «ему казалось, что нужно было сделать ещё что-то». И это «что-то» – оказалось самым важным следствием пережитой ночи: Лаевский, прощаясь с Надеждой Федоровной, «понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек». «Когда он, выйдя из дому, садился в коляску, ему хотелось вернуться домой живым» (11 : 439).

Необоснованность духовных метаморфоз чеховских героев (в том числе и Лаевского) А. П. Чудаков связывает с особенностями психологизма писателя: «Мотивы поведения чеховских героев никогда не раскрываются вполне» (13 : 232). Достоевский и Толстой в исследовании человеческих чувствований стремились дойти до последнего предела. В отличие от них «Чехов останавливается у некоей черты. За ней, быть может, и лежит то главное, которое объяснит всё. Но туда он не считает возможным вступить. В чеховской художественной концепции человека этот последний, глубинный пласт сознания (или подсознания?) – “черный ящик”. Доподлинно известны только импульсы входа и выхода» (13 : 238). Отсутствие в тексте «опережающей» психологической мотивировки поступков героев создает видимость естественной неожиданности, непредсказуемости этих поступков и их независимости от воли автора.

Эпиграф к XVII главе из «Воспоминания» Пушкина, восполняя функцию психологической подготовки читателя, предупреждает о глубоких переменах в душевном состоянии Лаевского. Текст XVII главы как будто вырастает из пушкинского эпиграфа; «тяжких дум избыток» пушкинской элегии превращается в безнадежно-печальные откровения чеховского героя. Пушкинские строки из «Воспоминания» М. Л. Семанова считает своеобразной заменой открытого авторского выражения сочувствия Лаевскому (8 : 83). По мнению исследователя, благодаря пушкинскому эпиграфу XVII глава как бы зачеркивает, «нейтрализует» характеристики, данные Лаевскому фон Кореном. Этот интересный тезис хотелось бы несколько скорректировать: исповедь Лаевского не зачеркивает, но подтверждает и даже усиливает обвинения фон Корена. Тем большее значение получает XVII глава. Заданная пушкинским текстом интонация словно поверяет человека: его душа возвысилась до покаяния, оказалась способной преодолеть отчаяние; герой повести почувствовал желание «вернуться домой живым».

Текст XVII главы близок к поэтическому: воздействие его на читателя можно сопоставить с впечатлением от высокой лирики. О силе художественной

власти чеховской прозы, своего рода гипнозе, способности писателя «заражать» искренностью чувств не раз говорил Л. Толстой, сопоставляя талант Чехова – «удивительный инструмент!» – с «бесконечной» глубиной поэзии Пушкина (9 : 138–140).

Открытый проблемный характер финала «Дуэли» тоже обусловлен пушкинской традицией. Авторская мысль, как пишет В. Б. Катаев, направлена «не на оценку персонажей, не на противопоставление “правды” Лаевского “правде” фон Корена», а на признание относительности любого решения, итоговой «формулы» – не случайно ситуацию поединка по-своему воспринимают в повести дьякон, секунданты, доктор Самойленко и доктор Устимович, татарин Кербалай. «Могут ли быть окончательными и справедливыми оценки, выносимые людям людьми?» (4 : 127). Автор не претендует на роль «высшего судьи», принимая как данность естественное развитие событий и многообразие жизненных явлений. В этом Чехов близок Пушкину: «Евгений Онегин» и «Повести Белкина» свидетельствуют о той же авторской позиции. По словам Чехова, в романе «Евгений Онегин» «не решен ни один вопрос», но «все вопросы поставлены правильно» (13 : 249). Чехов допускает возможность непредвиденных изменений в каждом человеке, признавая его неповторимость (4 : 132). И это важнейшее качество поэтики Чехова тоже связано с именем Пушкина. «Герой Чехова принципиально атипичен», – пишет А. П. Чудаков, – он, прежде всего, – индивидуальность, что составляет главную драгоценность в человеке. Этот метод восходит к Пушкину (13 : 244).

Повесть «Дуэль» была завершена Чеховым после поездки на Сахалин, «на остров отверженных» (3 : 256–264). Каторжный ад Сахалина, возможно, повлиял на характер финала повести «Дуэль»: «...после зрелищ бедствий человеческих особенно открылось сердце», – пишет Б. Зайцев. «...слабый Лаевский и подруга его Надежда Федоровна каждый по-своему катятся вниз и вот-вот погибнут», но «гибель померещилась только, не пришла. А пришло спасение». «...в сущности, их спасает смешливый дьякон <...> просто движением сердца спасает и Лаевского, и самого фон Корена: один остается жив, а другой, промахнувшись, не становится убийцей» (2 : 426–427). По мнению Б. Зайцева, «вся внутренняя направленность “Дуэли” глубоко христианская. Радостно удивляет тут в Чехове оптимизм, совершенно евангельский: “во едином часе” может человеческая душа спастись, повернуть на сто восемьдесят градусов» (2 : 428).

В современных литературоведческих исследованиях такой светлой интерпретации «Дуэли», как у Б. Зайцева, не встретишь. Напротив, подчеркивается, что Чехов крайне сдержан при описании прощального свидания бывших врагов, не нарушая «монополии» читателя на «подтекст» (1 : 30). В последней главе повести все «оценочные» слова произносят персонажи, автор словно предоставляет читателю право собственного понимания сюжета. Фон Корен удивляется, как Лаевский «скрутил себя» (11 : 451) – «Его свадьба, эта целодневная работа из-за куса хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка – всё это до такой степени необыкновенно...». Он даже признается, что если бы мог предвидеть эту перемену, то «мог бы стать его лучшим другом» (11 : 452). Однако, увидев Лаевского, он тут же пожалел, «что уступил чувству»

и зашел попрощаться, – «Напрасно я не оставил свидетелей на улице». И все-таки фон Корен «твердо» произносит: «Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор... Правда, как вижу теперь к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды» (11 : 452–453). «Как они, однако, оба жалки! – подумал фон Корен. – Не дешево достается им эта жизнь». Фон Корен «не знал, что ещё можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством». Дьякон восторженно откликается на слова фон Корена, не подозревая по своей наивности об истинном его состоянии: «...знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих – гордость!» – «Полно, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне... мне грустно» (11 : 453–454). Здесь каждая фраза и каждая мысль фон Корена содержат разноречивые суждения: какое из них примет читатель? От автора дана только одна деталь, которая говорит о смущении и растерянности Лаевского: он «неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки». И о Надежде Федоровне: она «робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор».

По мнению В. Катаева, в финалах произведений Толстого и Достоевского перед героем, пережившим «воскресение», открывался «свет истины – конечной, сверхличной, извечной». Чехов в «Дуэли» «не расценивает перемену, случившуюся с его героем, как переход от мрака к свету, от незнания истины к ее обретению. Апофеоза “нового” Лаевского нет» (4 : 125). Близкие наблюдения изложены М. Л. Семановой: в финале Лаевский «делает первые, хотя и робкие, шаги к новой, трудовой и чистой жизни» (8 : 83). Такой «нерезультативный» финал повести после пережитого высочайшего духовного переживания Лаевского, описанного в XVII главе, «опускает читателя на землю», к реальным прозаическим обстоятельствам.

Столь же сложна по смыслу и звучанию последняя страница повести. Провожая фон Корена, Лаевский мысленно повторяет его слова «никто не знает настоящей правды», «с тоскою глядя на беспокойное темное море». Что значит эта тоска? Он следит за лодкой фон Корена: «“Лодку бросает назад, <...> делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет всё вперед и вперед, вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает?»

Быть может, доплывут до настоящей правды...» – «Проща-а-ай!» – крикнул Самойленко. – «Не видать и не слышать, – сказал дьякон. – Счастливой дороги!» Стал накрапывать дождь» (11 : 455).

Рядом с оптимистическими размышлениями Лаевского («Быть может, доплывут до настоящей правды») звучит реплика дьякона: «Не видать и не слышать». Конечно, он говорит о лодке, но соседство реплики с высокими рассуждениями Лаевского сообщает ей символический смысл, бросая тень сомнения на только что прозвучавшие «хорошие» слова. Последняя фраза – «Стал накрапывать дождь» – окончательно возвращает читателя к повседневности, напоминая, что в самой обыденной жизни самый «обыкновенный» человек оказывается перед сложными нравственными проблемами. Финал повести «Дуэль» подтверждает чеховское понимание неизбежной незавершенности исканий «настоящей правды»; Чехову чужды готовые моральные решения. «Чеховская этика – нечто нескончаемо подвижное и заново становящееся», каждый раз в новых жизненных положениях (10 : 27).

Авторская позиция в поздней прозе Чехова, по мнению В. М. Марковича, выводит и современного читателя за пределы формулы «осуждение – оправдание», на которой обычно основывалось читательское отношение к персонажам (6 : 32). Чеховский текст построен так, что у читателя всегда есть основания для сомнений в правомерности своей оценки.

«Овидиева метаморфоза» Лаевского не была только проявлением чеховской веры в человека, «подкрепленной» стихами Пушкина. Финал «Дуэли», подтверждая близость писателя к пушкинским принципам творчества, уточняет, дополняет чеховское понимание ценностей духовно-нравственного наследия предшествующей культуры.

Библиографический список

1. Дерман А. Б. *О мастерстве Чехова*. М., 1959.
2. Зайцев Б. К. Чехов // Зайцев Б. К. Жуковский. Жизнь Тургенева. Чехов. М., 1994.
3. Измайлов Ал. А. Чехов: биография. М., 2003.
4. Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979.
5. Кошелев В. А. Онегинский «миф» в прозе Чехова // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998.
6. Маркович В. М. Пушкин, Чехов и судьба «лелеющей душу гуманности» // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998.
7. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987.
8. Семанова М. Л. Чехов-художник. М., 1976.
9. Фортунатов Н. М. Толстой о пушкинских традициях в прозе Чехова // Болдинские чтения. Горький, 1977.
10. Хализев В. Е. Художественное мирозерцание Чехова и традиции Толстого // Чехов и Лев Толстой. М., 1980.
11. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения. Т. 7. М., 1977.
12. Чехов А. П.: PRO ET CONTRA. Творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX – начала XX в. (1887–1914). Антология. СПб., 2002.
13. Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971.